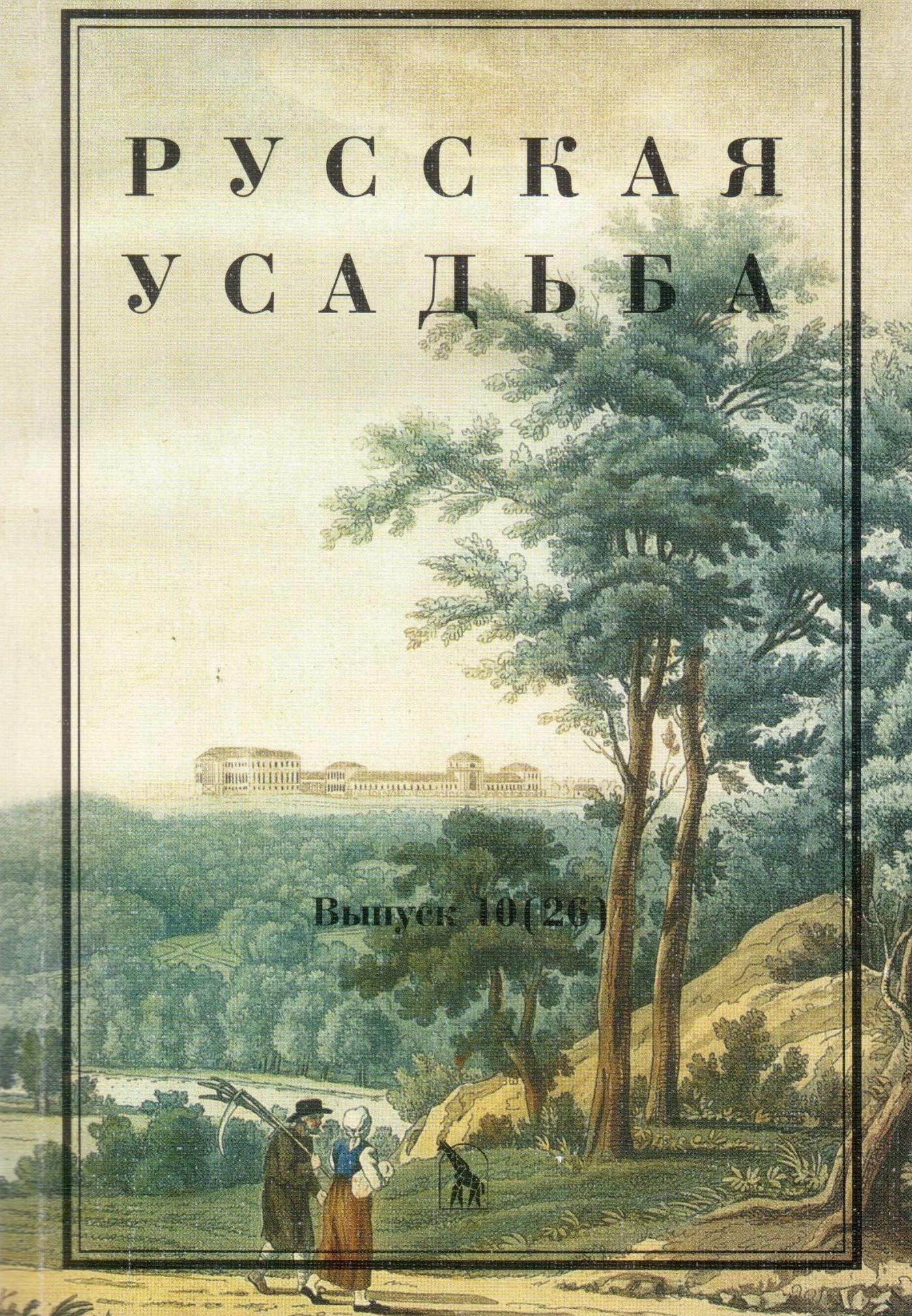


РУССКАЯ УСАДЬБА

Выпуск 10 (26)



УДК 728.8 (470-25) (082)
ББК 85.113 (2)1 И20
Р 89

Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 10 (26).
Колл. авторов. Научный ред.-сост. М.В. Нащокина. М., Издательство «Жираф»,
2004. 720 с.:илл.

В десятый выпуск сборника «Русская усадьба» вошли материалы научной конференции «Русская усадьба как историко-культурный ландшафт», состоявшейся в 2003 году в РНИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, а также новые столичные и региональные исследования по архитектуре русской усадьбы. Традиционно в сборнике представлены так называемые «усадебные монографии», то есть истории отдельных усадебных гнезд и их владельцев, созданные членами ОИРУ за последнее время, усадебные мемуары, расширенная хроника вандализмов и новые биографические материалы о членах ОИРУ 1920-х годов.

На 1-ой и 4-ой страницах обложки: — Худ. Ж. Месмер. «Надеждино. Вид на дворец и окружающую местность». Конец XVIII — нач. XIX в. ГИМ.

Для оформления оборота титула и шмуцтитулов использованы гравюры А.И. Кравченко, а также рисунки М.В. Добужинского, Л. Петухова, А.П. Шнейдер, К. Юона и других художников из журналов «Золотое Руно» и «Столица и Усадьба».



© Общество изучения русской усадьбы. 2004.
© М.В.Нащокина. Редактура. Составление. 2004.
© М.В.Нащокина. Оформление. Макет. 2004.
© ООО «Издательство «Жираф».
© Архитектурная мастерская С.Б. Ткаченко.

ISBN 5-89832-039-3

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена и использована в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Л. Н. ЛЕТЯГИН

УСАДЕБНЫЙ МЕТАЛАНДШАФТ РОССИИ *

Металандшафт – в меру своей идеальности – понятие условное.

Реальное движение в топосе – это движение от потерянности к самообретению через о–свое–ние пространства.

Отношения зависимости и сопричастности – условия обустройства любого пространственного локуса. В усадьбе этот процесс начинается с культа ландшафта. Его особенностью становится размытость границ рукотворности и естества – культуры и природы. Так формируется органичное единство «биографической привязанности» человека – его духовной оседлости. Микрокосм русской усадьбы – факт ее устроенности и эстетической завершенности.

Усадебное мышление планетарно в своей основе, в нем закономерно видеть один из существенных истоков русского космизма. «Строй деревенской жизни», столь возмущающий чеховского Серебрякова (*А. Чехов. Дядя Ваня*), для отставного профессора явление не просто инородное. «У меня такое чувство, – скажет он, – как будто я с земли свалился на какую-то чужую планету...» Усадебное мышление – это прежде всего способ отношения к миру, и суждения не самого симпатичного чеховского персонажа могут быть прокомментированы мыслью его реального современника. «Космизм, – писал Е. Н. Трубецкой, – есть наше специфическое мировосприятие и мироощущение, носящее характер преобладания Вселенского над индивидуальным».

С усадебной культурой русского дворянства оказывается связан тип национальной традиционности, сопоставимый лишь с константностью патриархальных форм крестьянского мира. В этом ряду размышлений закономерно обратить внимание на явно программное совмещение текстов, открывающих итоговые для Тургенева «Стихотворения в прозе». Русская «Деревня» и «Разговор» Юнгфрау с Финстерааргорном совпадают в контексте больших циклов. Это романтический взгляд «сверху», и диалог двух горных вершин восходит у Тургенева не к мотивам лермонтовской переводной лирики, а к традиции философской прозы В. Жуковского – его «Взгляду на землю с неба» и отдельным положениям писем к Н. Гоголю¹.

Категории «Космос» и «Хаос» обнаруживают дополнительные качества в соотнесенности с отечественным пространством, «презумпция» которого для России составляет основную особенность национального культурного опыта. Усадьба – прежде всего форма пространственной организации жизнедеятель-

* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом РФФИ № 00-06-80065.

ности, поэтому не выглядит «натяжкой» утверждение, что русская культура в своей основе – культура усадебная.

Представление об исконности положения усадьбы в отечественном ландшафте не позволяет относить ее к периферийным феноменам культуры. Говоря о географической плотности усадебных владений русского дворянства, стоит особо отметить роль усадьбы в формировании городского ландшафта. Как «конфедерация усадеб» (определение К. Г. Исупова) формируется и развивается Москва. По отношению к древней столице типологически точным оказывается сравнение с «большой деревней» (негативная оценка, закрепившаяся за данным определением впоследствии, не способна нейтрализовать изначально исчерпывающий его характер).

Национальный космос – условие формирования культурной идентичности. Усадьба как образ и усадьба как предмет исследования нередко обозначают противоположные грани, исходный синкретизм которых теряется вне единства смыслов исторического полагания. В усадебном «металандшафте» оказываются контекстуально совмещены не только существенные проекции мифа, но и вполне конкретные бытовые реалии. При «фокусированном» рассмотрении – в соответствии с античной традицией – они раскрываются в ключевых значениях «над», «через» и «после».

I. Положение «НАД» предполагает восприятие привычных фактов жизнедеятельности с позиции «панорамного зрения» (Д. Лихачев). Усадьба – явление идеальное, если не по воплощению, то по своим внутренним установкам. Эстетическое содержание моделей поведения усадебного человека начинается с интуитивно принимаемых им формул «благодарного присутствия» в пространстве.

«В каждое утро, – запишет Андрей Тимофеевич Болотов, – встав почти с восхождением солнца, первое мое дело состояло в том, чтоб, растворив окно в мой сад и цветничок, сесть под оным и вознестись при том мыслями к производителю всех благ и пожертвовать ему первейшими чувствами благодарности за все его ко мне милости. Между тем как я сим первым и приятнейшим для себя делом занимался, готовил мой Абрам <...> мой чай... Напившись досыта, вскидывал на себя легкую, простую и спокойную деревенскую одежду и, всунув в карман какую-нибудь книжку, спешил в сады свои...»².

Для А. Болотова наличествующая в ландшафте «предметность» выступает условием постижения Непредметного. Усадебное умозрение – единство чувственно воспринимаемых и рационально постигаемых форм. В очевидном многообразии окружающего мира открывался его Первообраз. В индивидуальном сознании эта оппозиция обозначалась отношениями зависимости внешнего и внутреннего – существования и Сущности, быта и Бытия.

Подобные метафизические установки характерны не только для Болотова, но и всего поколения, которому он принадлежал³. Открываемую целостность мира не было возможным о–предел–ить, но ее нельзя было не обнаружить. Нередко это был единственный аргументированный ответ на вопрос о том, каким образом Бытие Творца оказывалось соотнесено с индивидуальной судьбой каждого Его творения. Человек XVIII века осваивает мир, поступая во всем со-

знательно. Однако именно здесь обозначалась актуальная «креативная грань» – переживаемое чувство беспредельности потенциала Творца в сознании помещика, увлеченного обустройством своей усадьбы, было соединено с неизбежным пониманием предела собственных возможностей. Примирение с противоречивой ситуацией оказывалось условием осмыслить онтологические основания своего должного существования.

В отечественной литературе ландшафт как «метафизическая категория» появляется в эпоху сентиментализма. В «Ландшафте моих воображений» А. Кропотова уже обозначены отношения прямой зависимости между оче–видностью и умо–зрением. Опыт поэтической рецепции пространства оказывается особенно актуален в школе романтизма, формирующей новый тип духовной реальности, как единства объективно данного и индивидуально пережитого.

Так устанавливается уровень эмоциональной зависимости между отдельными позициями в типологическом ряду – природных реалий, ассоциируемых с ними кругом идей и культурных форм. Для человека усадебной традиции все «участно» освоенное им становилось фактом безусловного «пространственного притяжения». «Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки, – вспоминал в эмиграции С. М. Волконский. – <...> Смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Все это <...> я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь... Вот то творчество, которое привязывает к месту»⁴.

Подчеркнутая самостоятельность внутреннего ритма, которым жила усадьба, определялась вовсе не пространственной удаленностью от столицы. «В известном многим Приютино, – отмечала его молодая хозяйка В. А. Оленина, – жизнь текла тихая, мирная, аккуратная, простая деревенская; и казалось, по образу жизни, верст за 500 от Петербурга»⁵. Стиль поведения «усадебного человека» – и шире «стиль его жизни» – остается почти неизменным на протяжении столетия. В 1911 году А. Блок напишет В. Пясту из любимого им Шахматова: «Здесь, по обыкновению, сразу наступила полная оторванность от мира <...> Много места, жить удобно, тишина и благоухание. Вам было бы интересно и нужно, я думаю, увидеть эту Россию: за 60 верст от Москвы, как за 1 000: благоуханная глушь, и в земном раю – корявые, несчастные и забытые люди с допотопными понятиями, сами себя забывшие»⁶.

В реальном ландшафте оказывались совмещены принципиально различные картины мира.

«Один человек рассматривал географическую карту России. Слуга его с любопытством спросил:

– Что это такое, сударь?

– Господин сказал: – Это такой лист, на котором можно найти все города, реки и даже деревни. Удивленный слуга попросил сыскать родину его, деревню Погорелки. <...>

– Вот она, – указал пальцем господин и прочитал имена еще нескольких близлежащих деревень. Слуга, услышав название Жихарево, сказал: – По-

звольте вас попросить, сударь, не можете ли вы увидеть, жив ли еще в Жихарево мой свояк Кузьма Терентьев?»⁷.

Сохранение моделей пространственного восприятия – от «наивной» точки зрения дворового человека до детерминации «наследственного», владельческого взгляда его хозяина – поддерживалось сосуществованием различных систем ценностей. Эту оппозицию обыгрывает А. Дельвиг в стихотворении «Моя хижина» (1818):

*Признайтесь, что блажен поэт
В своем родительском владенье!
Хоть на ландкарте не найдет
Под градусами в протяженье
Там свой овин, здесь огород,
В ряду с Афинами иль Спартой;
Зато никто их не возьмет
Счастливо выдернутой картой.*

В этом тексте, принадлежащем традиции «усадебной лирики», непосредственно переживаемое чувство пространства выступало условием формирования отвлеченных понятий. Они не могли быть применены или адаптированы к какой-либо иной ситуации, представляя абсолютный контраст с системой народных представлений русского крестьянина. Укорененность метафизических понятий русского дворянина-помещика зачастую оказывалась шире географических пределов и даже хронологии отечественной истории. Формулы «переживания» пространства становились моделями «проживания» большого времени.

Усадебная философия – это многообразие событийности, с актуальной «поправкой» на специфику ее пространственного протекания. Рассматриваемый «локус» не сужает, а расширяет видение культурных реалий, что крайне значимо для его исследовательской интерпретации. Вместе с тем действительный ПУТЬ, пройденный русской усадебной культурой, далеко не всегда был ориентирован установками сохранить в ландшафте различимый материальный след... Обособленность положения и «интровертный» тип биографий большинства носителей исследуемой традиции осложняет современную оценку усадьбы как нестатусного явления – движение ЧЕРЕЗ метаморфозы социальных поворотов и исторических судеб.

II. Классическим веком русской усадьбы можно считать тот период истории, когда она, сохраняя основные формы организации хозяйственной практики, активно заявляла соответствующие ей модели культурного поведения.

Усадебный топос активно формировал зависимые от него формы ментальности. Образы пространства и образы жизни оказывались связаны типологией культурного присутствия человека – единством поведенческих жанров. Дело не только в том, что идеальные уровни интерпретации усадебного быта (в частности, высокая степень сакрализации форм бытовой повседневности) в действительности имели вполне рациональную мотивацию и достигались конкретными практическими устремлениями владельцев поместья.

Возникнув как форма организации жизнедеятельности, усадебная традиция за короткий период формирует особый тип личности. Об этом очень точно говорил А. Бенуа, предлагая такую характеристику семейства Философовых: «Помещицья <...> природа Философовых давала всему их быту своеобразную прелесть. <...> Их нельзя было причислить к аристократии придворного круга. <...> Это был тот самый класс, к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры XVIII и XIX столетий, создавшие прелесть характерного русского быта. <...> Этот же класс выработал все, что было в русской жизни спокойного, достойного, добротного, казавшегося утвержденным навсегда»⁸.

Интересным с типологической точки зрения оказывается встречная характеристика Дмитрия Философова – его мнение о старшем поколении семейства Бенуа. «У стариков – радушие чисто русское, может быть, даже чуть-чуть разгильдяйское. Но все-таки, на всем доме лежит отпечаток "иноземного" <...> Я не мог себе представить стариков Бенуа где-нибудь в Новоржевском уезде Псковской губернии. Они должны жить на даче, в Петергофе. С Россией они связаны через Петербург, через наше окно в Европу. Их призвали сюда Петр Великий и его преемники себе на помощь, для насаждения в России "искусств и ремесел" ...»⁹.

Характер «перекрестных наблюдений» наглядно иллюстрирует принципиальную значимость для носителя традиции тех культурных качеств, которые далеко не всегда получали формально выраженный, «выговоренный» смысл. В меру соответствия не букве, а духу усадебный текст не стремится к прямому отождествлению со словом, существуя в категориях своей до-словности. В этом убеждает прежде всего обращение к источникам мемуарного происхождения. Самая неуловимая часть опыта – то, что зачастую не может фиксироваться в памятниках материальной культуры и сохраняется только в непрерывности, континуальности живой человеческой памяти.

С другой стороны, именно до-словный характер предполагал последовательность воплощения формул поведения в повседневности. «Я пишу, как пью чай»¹⁰, скажет И. Киреевский. «Усадебный человек» и в столицах сохранял привычный ритм своего поведения, к чему, несомненно, более располагала Москва, чем Петербург. (В Северной столице свою независимость от «поведенческого фона» мог сохранять лишь тот «завершенный» тип личности, который в своем классическом виде был представлен И. Гончаровым). «Дни мои проходят все одним манером. Поутру я встаю поздно, часов в 11... потом одеваюсь, кто-нибудь является ко мне, или я отправляюсь куда-нибудь, потом обедаю по большей части в трактире, – после обеда сплю или гуляю. К вечеру, если дома, то с Жуковским, а если не дома, то с петербургскими москвичами, потом... ложусь спать: в эти два часа, которые проходят между раздеванием и сном, я не выхожу из-за московской заставы»¹¹.

Совокупность идиоматических значений предполагает актуальность осмысления усадебного быта как системы недеklarированных ценностей. Интерес к поступку, рассматриваемому в историко-культурном, этнографическом, социологическом и иных аспектах в научном плане вряд ли оправданно считать явлением новым. Тем ощутимее осознается потребность структурирования материала с ориентацией на вполне конкретную поведенческую парадигму.

В системе поведенческих моделей, характеризующих русскую дворянскую культуру XVIII–XIX веков именно усадебное пространство отличалось подчеркнутой определенностью и самостоятельностью жанровых форм. В противоположность динамичности коммуникативных моделей, соответствующих городскому топосу, пространство русской усадьбы оказывается «внесюжетным», однако предлагает свое активное «управление» ситуацией.

В декларировании ключевых понятий усадебной жизни сложнее всего отразить типологию обыденного, житейского, которая на всем протяжении формирования усадебной традиции сохраняла (и культивировала) показательное противоречие. Как ни парадоксально, но быть «le vrai boyard russe» (настоящим русским баринем) мог быть лишь тот помещик, который таким образом – по-французски – мог представиться.

Усадебная культура не поддается тематизации. По крайней мере без ощутимых потерь для понимания сущностных граней и присущего ей «строю мысли». Отказываясь от принципов тематизации, нарушающей внутреннее ценностное равновесие усадебной повседневности, продуктивнее говорить о разных уровнях «усадебного текста», по отношению к которым предлагаемые категории «усадебного поведения» и усадебного «типа личности» выполняли функцию культурного кода. Это позволяет рассматривать усадебную культуру не через производные разной степени актуальности, а как комплекс устойчивых представлений.

«Патриархальность» – существенная детерминанта усадебного мифа, так как момент преемственности в формировавшейся на протяжении века системе усадебных ценностей был одним из ключевых. Усадьбы, даже вновь приобретаемые, стремятся обустроиться как старинные родовые гнезда.

В расчете на наследников русская усадьба возникает и развивается, функционируя в показательном единстве различных культурных функций. Издававшийся в начале XX столетия журнал «Столица и усадьба» (1913–1917) стал последней попыткой археографической фиксации уже бесповоротно и навсегда утрачиваемых культурных отношений. На новом витке истории усадебный быт оказался неконкурентным именно в плане воспроизводимой системы ценностей. Вопрос Владимира Набокова (*В. Набоков. Машенька*): «Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты перестанет ее видеть?» не был риторическим. Важнейшие утраты в усадебном ландшафте начались с изменения ракурса его культурного восприятия.

III. А что же ПОСЛЕ?...

Наследие предполагает наследников. Кризис культуры – кризис памяти, прежде всего – непосредственно наследуемой, родовой. Именно это предопределяет реальную верхнюю границу усадебной культуры в России. Важнейшими можно считать не только экономические факторы, столь очевидно подорвавшие существование усадебной культуры после 1861 года. «Размывание основ» усадебной метафизики в немалой степени было связано с экспансией культуры дачной.

Эта тенденция оказывается обозначена в мемуарных текстах задолго до появления чеховских образов новых усадебных хозяев от Петрина до Лопухина, бунинского купца Красильщикова (*И. Бунин. Темные аллеи. Степа*), или героев книги С. Минцлова (*За мертвыми душами*).

Пристрастный, но точный в своих оценках Ф. Вигель отметит актуальный «социальный сдвиг», который произойдет непосредственно после завершения пушкинской эпохи: «обычай <...> проводить лето на дачах в два года между всеми классами уже распространился...»¹².

Усадьба и дача заявляют разные системы ценностей. Это не вопрос о форме собственности, а о типе культурного поведения. «Лето Демидовы большею частью проводили в Финляндии, в окрестностях Гельсингфорса, свидетельствует В. А. Соллогуб. – <...>. За ними туда собиралось довольно большое и очень изысканное общество; образ жизни был чисто дачный, с тем оттенком щегольства и моды, который всюду за собою заносят светские люди»¹³.

Софья Андреевна Толстая отметит в своем дневнике, как 19 марта 1873 г. Толстой «перечитывал вслух <...> о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян»¹⁴. С этого «открытия» начинается работа над «Анной Карениной» с ее «Левинской» темой. Б. М. Эйхенбаум точно прокомментирует специфику взгляда Толстого на прошлый «быт дворян»: «Искусство Толстого было в основе своей вдохновлено дисгармонией – противоречиями общественного и индивидуального сознания, тогда как в основе пушкинского творчества, несмотря на трагические противоречия жизни, лежала полнота и цельность исторического сознания. Здесь сказывается разница между крайними точками исторического процесса, начинающего и завершающего построение русской дворянской культуры XIX века»¹⁵.

К началу XX столетия «полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева» (*Астров. Дядя Ваня*) принадлежали давно ушедшему времени. Именно в этот период угасания родится «миriskуснический» усадебный культ, на фоне которого отчетливо обозначится несоразмерность масштабов «дачного» и «усадебного» топосов.

Осторожного и чуждого «практической жизни» Серебрякова пугает и отталкивает интуитивно обнаруживаемая им потерянности: «не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. Двадцать шесть громадных комнат»...

«В мае я переселился <...> в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи...». «В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах» (*И. Бунин. Липовые аллеи. Муза*).

Самое осязаемое дробление и измельчение усадебного образа происходило не в оценке внешних реалий прежнего быта, а в изменении поведенческих моделей. «Никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы...». Именно в этот период появляется «Дом в русском дачном стиле...» и странное и конфликтное определение «дачная усадьба» (*И. Бунин. Липовые аллеи. Русь*). Именно с этого момента усадьба нередко воспринимается как «большая дача». Однако «самоочевидное» для представителей эпохи упадка усадебной культуры сходство имело лишь внешний, но не внутренний смысл.

Июль – апогей дачной жизни, когда набирает силу особая сезонная социальная группа – дачники. Именно с летним периодом оказывается связан специфический дачный фольклор:

*Хорошо в июле месяце
В дачной местности повеситься.*

Дачная жизнь (как «периодически возрождаемая» форма досугового поведения) предполагала не просто иную – более упрощенную – форму отношений. Ее главная отличительная черта – независимость от места, несформированность чувства наследственной, родовой привязанности к ландшафту. Мечта профессора Серебрякова – не обжитая усадьба, приносящая скромный, но вполне конкретный доход, а «дача в Финляндии». Это существование безотносительно к месту. К данной мысли Чехов будет возвращаться постоянно, окончательным его диагнозом станет последняя пьеса – не столько с метафоричностью авторских ремарок в финальных сценах, сколько с реалистичностью писательского обобщения: «вся Россия – вишневый сад».

«Теперешняя моя жизнь не богата происшествиями, потому что лето какое-то переходное, – будет писать Блок в письме З. Н. Гиппиус. – Может быть, скоро придется оставлять все здешнее, а я к нему страшно привязан, потому что почти из года в год провожу здесь одни и те же летние месяцы. <...> Вид из окна великолепный – зеленый и тихий сад, розы, рябина, липы, сосна. Но нет места, где бы я не прошел без ошибки ночью или с закрытыми глазами. Поэтому иногда хочется нового. <...> Вся жизнь медленная, ее мало, мало противовеса крайнему мистицизму...»¹⁶.

Для человека, абсолютно принадлежавшего усадебной традиции, не возникло бы блоковского «но»... Иная система противопоставлений окажется представлена в оценках родных, заинтересованных в его «душевном покое»: «Сашура хорош, но его здешняя безмятежность должна нарушиться в городе. Опять начнется меланхолия, опять исключительность»¹⁷. Об этом внутреннем надломе – не столько личном, сколько национальном – позднее точно скажет В. Маяковский: «Кругом тонула Россия Блока»...

Период угасания усадебной культуры оказался проанализирован более всесторонне – в этом плане логично опереться на систему выверенных оценок, предложенных в публикации Е. Е. Дмитриевой¹⁸. После подготовки знаменитой выставки русского портрета в Таврическом дворце С. П. Дягилевым было сделано несколько вполне программных заявлений: «Я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Здесь доживают не люди, а доживает быт. Это говорит история. То же подтверждает эстетика...». «Речь эта, – комментирует Г. Ю. Стернин, – сочетала в себе несколько театральное расставание с прошлым, с одной стороны, и трезвое понимание исторической неизбежности глубоких политических и социально-культурных перемен»¹⁹. Вместе с тем выбранная форма расставания с прошлым стала итогом действительных наблюдений «из глубины России» – ее внутренней жизни. Эпоха «усадебного послевкусия» обладала высокой степенью устойчивости ассоциаций – ностальгическим запахом бунических «Антоновских яблок».

Став исключительным фактом прошлого, усадьба как система образов сумела избежать той показательной девальвации, которая характеризует все периоды последовавшего «дачного строительства».

Быть может, только в нашей ситуации венаходимости, став «предметом исследования», мир и строй русской усадьбы раскрываются в национальном ландшафте сложным взаимодействием механизмов памяти – смыслами бытия между исповедью и проповедью, отповедью и заповедью...

* * *

Метацентр – точка, от положения которой зависит устойчивость равновесия геометрического тела. «Свое» познается в сравнении с «чужим». В порубежные эпохи во многом проясняются созидательные качества культурных топосов – их историческая роль по отношению к центрам политической жизни. Речь идет не о противоположности словарных значений, а о понятийной неоднозначности оппозиции «периферии» и «метрополии», о геополитическом статусе категорий «самосознание» и «самоумнение» – о пространственной локализации и концентрации смыслов исторического полагания.

В современном балансе ценностей русская усадьба занимает особое, но не вполне проясненное положение. Это тип культуры, который ушел безвозвратно. Интерес к нему определяется значимостью для нас «длящегося свечения» уже не существующей традиции. В этом случае сложно соответствовать критериям целостности, которую всякий внешний взгляд способен интерпретировать не предметно, а исключительно стилистически, через ее производные – как «сцены из деревенской жизни».

Усадебоведение не стало в полной мере областью междисциплинарных исследований – тем более исследований метатеоретических. Это логичнее связывать не с кризисом «усадебной методологии», а кризисом современного мировоззрения. Однако если понятие «метагалактика» энциклопедические справочники определяют как «часть Вселенной, доступную современным астрономическим методам исследования», то и современное изучение усадебной культуры можно считать лишь промежуточным этапом.

Мир русской усадьбы – это национальная культура в одной из ее наиболее идеальных заявок. Потерянность и забвение его культурных форм оборачивается половинчатостью осмысления других (в том числе вполне современных) реалий – необратимой потерей исторически определенного единства культурных контекстов.

За устойчивостью интереса к усадьбе, несомненно, стоит нечто большее, чем ее собственная историческая судьба. Несомненно и другое: предмет усадебоведения значительно шире тех задач, которые ставит перед собой культурная археология. Изучение усадебного ландшафта позволяет сохранить целостный образ России, о котором В. Подорога заметит: «страстное пространство, пассионарное»²⁰.

Усадьба – нечто созвучное наиболее сокровенной, почти интимной ипостаси России – оказывается для нас иносказанием какой-то необъясненной части ее духовного опыта. Это прошлое, к которому и сегодня, и завтра мы вправе обратиться как непосредственные наследники в своем постижении национального и вечного.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жуковский В. А. [Проза поэта]. М.: ВАГРИУС, 2001. С. 55-59; 158-159.
2. Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. М.: ТЕРРА, 1993. Т. II. С. 242-243.
3. Мысли о душе: Русская метафизика XVIII века / Подг. текстов Т. В. Артемьевой. СПб.: Наука, 1996.
4. Волконский С. М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. Т. II. С. 33.
5. Крылов И. А. В воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 143.
6. Блок А. А. С. с.: В 8 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1963. Т. VIII. С. 337.
7. Рагимов О. Былые небылицы: (Сборник анекдотов). М.: АО «Интердиалект», 1994. С. 30.
8. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М.: Наука, 1980. Т. I. Кн. I-III. С. 504-505.
9. Философов Д. В. Юношеские годы Александра Бенуа / Вст. ст. и публ. А. П. Банникова // Наше наследие. 1991. № 6. С. 83.
10. Киреевский И. В. П. с. с.: В 2 т. М., 1911. Т. II. С. 226.
11. Там же. Т. I. С. 19.
12. Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. II.
13. Соллогуб В. А. Воспоминания. М.: СЛОВО/SLOVO, 1998. С. 119-120.
14. Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. I: 1862-1900. С. 500-501.
15. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 152.
16. Письмо от 16 августа 1902 г. // Блок А. А. С. с.: В 8 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1963. Т. VIII. С. 42-43.
17. Бекетова М. А. Дневник // Бекетова М. А. Воспоминания об А. Блоке. М.: Правда, 1990. С. 574.
18. Дмитриева Е. Е. Русская усадьба: конец золотого века // Концы и рубежи. М.: ИРЛИ РАН, 2002. Ч. I. С. 286.
19. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1990. Т. II. Кн. IV-V. С. 614.
20. Подорога В. А. Простираие или география «русской души». Предисл. к изд.: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д. Н. Замятин, А. Н. Замятин. М.: Мирос, 1994.